

18+



СЕРФ СКАЗКИ

НИКИТА ЗАМЕХОВСКИЙ-МЕГАЛОКАРДИ

Никита Замеховский-Мегалокарди

Серф-сказки

«Издательские решения»

Замеховский-Мегалокарди Н.

Серф-сказки / Н. Замеховский-Мегалокарди — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-629773-9

Это двенадцать волшебных новелл, где реальность и миф, причудливо переплетаясь, создают неожиданную грань действительности. Серфинг в них предстает глубоким мистическим миром, обогащающим каждого умением сопереживать, восхищаться, вливаться в движение жизни. Вода — мощная, вечная и терпеливая по отношению к человеку стихия, омывающая чувства и мысли, — и есть главная героиня книги. С ее помощью человек, познавая и преодолевая себя, обретает единение с Миром, становится его полноценной частью.

ISBN 978-5-00-629773-9

© Замеховский-Мегалокарди Н.

© Издательские решения

Содержание

I	6
II	7
III	9
IV	12
V	15
VI	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Серф-сказки

Никита Замеховский-Мегалокарди

© Никита Замеховский-Мегалокарди, 2024

ISBN 978-5-0062-9773-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I

Песок был похож на бусинки. Но на бусинки такие крохотные, что их могли бы в ожерелье носить только бабочки. Он потрескивал и шелестел, словно листья, словно волны, словно времена. Солнце в небе не торопилось никуда, океан медленно шёл к приливу. Была половина дня – время, когда всё кажется замершим, неторопливым, и даже тень, собственная тень перебирается под ноги, словно не хочет выставляться на медленный зной.

Дремали скалы, на них дремали жарко и влажно зелёные кроны. На некоторые листья лучи падали так жестоко, что они казались не зелёными, а белыми и ослепительными. Лагуна сияла бирюзовым пляшущим светом.

За ней лежал, подложив под голову большие руки, Риф.

Кем была для него Вода? Возлюбленной, влюбленной? Она своею голубой ладонью оглаживала его грудь, и иногда с такой нежной лаской, что сомнений не оставалась – влюблена, влюблена в этого молчащего гиганта, похожего лицом на какого-то античного титана. Но порой лежала на его плече, отстранённая, отчуждённая, и казалось тогда, что близость его могучего тела вызывает в ней только покорное неприятие.

...А то бросалась вдруг на него с шутовой страстью, целовала ладони, кораллы губ, лучистые светлые глаза, тёмно-зелёные волосы, и эта страсть из шуточной вдруг перерастала в настоящую!

Как же она любила его в эти мгновения, растягивающиеся иногда на целые недели: и кто знает, чем он был для неё – огромный, прекрасный, неспособный шевельнуть и величественным своим пальцем, чтобы вернуть ей объятие! Только его глаза, живые и наполненные блеском, смотрели в самую её душу. И тогда она целовала его упругими солёными губами, целовала и с покорностью принимала – понимала, отчего так любит! Но, успокоившись, опять припадала к неподвижной груди, думая отчаянные свои мысли, играя его волосами.

От этой то ли взаимной, то ли безраздельной страсти, собрав в себя всю её силу, вздымая зелёной горизонталью над Рифом, по шёлковой спине Воды проходили волна за волной, чтобы удариться о его твердую грудь и разбиться, как белоснежные кипучие слезы.

Я – крошка, я для Воды даже не песчинка. Шарик моего чувства не будет замечен в её ожерелье, но я понимаю, что, идя к ней с доской, я, пусть хоть и малым своим участием, отдаю моей Воды ту любовь, которая так ей необходима.

Меня видит Воздух, меня видит Берег, я смотрю на Солнце. Я их общее дитя, каждым из них взлелеянное, каждым из них наполненное и каждому из них бесконечно благодарное!

II

– Эгей, эге-гей-э-эй, – протянул тонкий, почти флейтовый голосок откуда-то сзади и справа. Я оглянулся. Там никого не было, только песок пустынного пляжа резал своей беспощадной белизной глаза, светился бирюзовый залив да на мысу тяжело и горячо молчал в своём изумрудном великолепии сохранившийся кусок сельвы.

Мысленно хмыкнув, я побрел дальше, держа под мышкой доску, и снова услышал:

– Эге-е-ей, сеньо-ор... – голос был тоненьким и близким, таким никто не мог звать меня из густой чащи. Снова обернувшись и опять обнаружив пустой пляж, я тряхнул волосами, не сомневаясь, что солнце наказало меня горячим подзатыльником за пренебрежение к традиционной сиесте и теперь в моей голове бродят чужие голоса, тонкие, как лучик, которым брызжет роса.

Вдруг на манер считалки голосок пропел:

– Я тут рядом, я тут рядом!

И я, удивляясь сам себе, спросил:

– Где?

– На твоём плече, на твоём плече! – пропел голос и тоненько захихикал. Скопив глаза на одно, потом на другое плечо и ничего не обнаружив, сбитый с толку непрекращающимся хихиканьем, я решил уточнить:

– На каком?..

– На правом, на правом, – завибрировал голосок.

Опять с недоумением осматривая своё правое плечо и не находя на нем ничего или, вернее, никого, я уже собрался снова идти дальше, как вновь услышал:

– Ну ты же смотришь прямо на меня.

– Да на кого?!

– На меня, на меня. Я капля!

– Капля... – уже не переспросил, а повторил я.

Солнце разливалось в своей полной власти над голубым и стеклянным простором, на мысу в кронах звенели цикады, и со мной говорила капля, оставшаяся на плече от той моей волны. От той, которую я проехал всю, до самого конца, которую мне не нужно было ни у кого оспаривать, которую блистающая Атлантика пронесла через свой простор и, словно ладонь, подставила под мою доску.

Так странно: вода, ещё недавно огромная, на сапфировом склоне которой я чувствовал себя только частичкой, пузырьком сознания в толще силы, вдруг лежит на моем коричневом плече, и огромное косматое солнце юга отражается в ней крошечной белой искрой. И ещё мне подумалось, что она похожа на икринку – икринку, из которой вырастает океан.

– Ну что ты остановился, иди, – проговорила она и снова тоненько захихикала: – Иди, а то толстый Рикардо засмеёт тебя, если заметит, что ты тут разговариваешь будто сам с собой.

Совершенно сбитый с толку, похрустывая песчинками, я побрел в сторону автостоянки, где под большими деревьями «креольского винограда» стояли дощатые, расписанные яркими красками киоски, в которых торговали жареной рыбой, кока-колой, фигурками, выточенными из мягкого камня, и душистой жгучей мамахуаной¹.

Покосившись на своё плечо, на зыбко подрагивающую сияющую искорку, почти не шевеля губами, действительно опасаясь острого на язык, болтливого Рикардо, я спросил:

– Откуда знаешь Рикардо? Он не катается...

¹ **Мамехуана** – Алкогольная настойка из рома и трав.

– Ты смешной, сеньор! Как может толстый кит Рикардо прокатиться на доске?! Разве только беспалый Эмельяно даст ему одну из своих лодок.

– Ну так откуда, и даже Эмельяно?..

– Ты не только смешной, ты ещё глупый сеньор, да? – немного рассердилась капля и кольнула мне глаза острым блеском. – Они что, не пьют воду никогда!?

«Эмельяно не часто», – подумал я и затем буркнул:

– Вода воде рознь...

– А вот и нет, а вот и нет, – захихикала она в ответ. – Вот и нет! Вода всегда вода. Я сейчас катаюсь тут на тебе, но знаю, что делается в озере далеко отсюда, там, где холод. Я знаю ещё, что бывает внутри у твоей мамы, когда болит её сердце, потому что оно тоже из воды. Я знаю, как далеко, на той стороне Земли, проснувшееся солнце дрожит в бухте и как, высекая брызги, несётся по первой своей утренней волне сёрфер. Я даже вижу его глазами, да и твоими тоже, глазами всех, потому что в твоих зрачках – вода. Только... мне иногда бывает больно... – добавила она помолчав.

Я мерно шагал, слушая её речи.

– Ты знаешь, я ведь чувствую страх... Нет, не тот, когда люди тонут, нет. К этому я отношусь по-другому, не так, как ты с кочки своего разума. Я знаю ужас души малыша, младенчика, которого ледяной сталью вычерпывают из вод его злой матери. Я знаю, что такое боль гибели его жизни, потому что он, этот так и не рождённый малыш, вода куда больше, чем вы, вставшие на ноги и самостоятельно передвигающие себя по планете! Ведь он – капля, он – капля! Он мыслит со мной одним сознанием и ощущает мир одним со мной способом!

Когда в чистейший розовый туман своих легких, похожий на цветение абрикосов на твоей родине, мальчишка выпускает густое масляное облако табачного дыма, убивая нежные соцветия, я плачу. Я... мне больно, ведь я вода, которая взлелеяла этот чудесный сад! Когда мутный и страшный яд, бледный и неотвратимый, вгоняет в вену себе человек, чьи глаза высохли без остатка, как нечистые лужи, я бьюсь от боли, я, ваша кровь! Я ведь вы. Я – вы!

Я вас укрываю крыльями дождей, прячу от неистового солнца, от ледяного и беспощадного космоса. Тку воздух, крашу небеса.

Я истаю сейчас, но снова вернусь к тебе. Буду океаном, и твоей волной, и каждым твоим глотком. Только прошу тебя, сеньор, сделай свой глоток навсегда чистым...

– Ой-е, ну как там? Не молчи, рыжий индеец! Ты опять катался, пока мы тут выгребаем пакеты и окурки из песка, на котором ты тоже работаешь! – окрик Рикардо подействовал на меня как толчок. Совсем незаметно я добрёл в радиус действия его насмешливого ора.

– Молчи, несчастный, дай мне лучше юкки².

– Ой-е, смотри-ка, каррахо³! Белый индеец хочет есть! Он всегда хочет есть, даже в сестру! Если я разбужу тебя ночью, ты тоже будешь просить юкки?!

В предвкушении традиционной перепалки из близлежащих киосков начали высываться головы разной степени курчавости.

– Рикардо, нет у тебя юкки ночью, как, впрочем, и днём, потому что ночью ты всю её прячешь в своё пузо! – прокричал я в ответ погромче, чтобы услышали все, и свистнул, подзывая чёрную малышню, наболтавшуюся в мягких волнах светлого прибоя и ждущую, когда я подвезу их до Рио-сан-Хуана.

Я завел мотор, Рикардо что-то клокотал под общее хихиканье, а я думал, вырुливая на залитую полуднем горячую дорогу: «Бурли, Рикардо, бурли, не останавливай поток, пусть вода, которая переливается в тебе жизнерадостно и хлопотливо, живет и дальше, пусть всем будет смешно от твоих шуток, толстяк, пусть радуется вода».

² Юкки – Маниок съедобный, тропическое растение, напоминающее картошку.

³ Каррахо – Испанское ругательство.

III

День был светлым, золотым, как солнце в кокосовой листве. Небо было выше обычного, широкое облако раскинуло своё оперенное крыло так высоко, что, казалось, даже солнце очутилось под ним; океан лежал в просторе, как огромный синий скат, плоский, немой и сильный.

Тень из-под зонтов, воткнутых в горячий мелкий песок, немного выползла в сторону, за ней вслед передвинули шезлонги и полотенца белотелые туристы, бездумно поглядывающие на шевеление прибоя или, прикрыв глаза, в неге вглядывающиеся в какие-то свои мысли.

Прибой гудел и работал. Бирюзовые пласты вздымались один за другим и рушились на плотный песок так тяжело, будто хотели спрессовать его ещё сильнее, но тут же, разбившись в пену, с шипением охватив полукругом песчинки, увлекали их в океан, чтобы опять поднять и бросить с силой. Этот вечный труд туристам казался бессмысленным, однако завораживал именно тем, что на подобную чепуху тратилась такая великая сила. Кромка пляжа от этого труда всегда оставалась гладкой, и любую цепочку следов прибоя тут же с недовольством стирал.

Невдомек было ни бледнокожим отдыхающим, ни бронзовым от загара девицам, что прибой стирал все следы оттого, что силился разложить прохладные упругие крылья океана как можно дальше, глубже в берег и потому веками, не жалея сил, лизал и лизал сушу, распространяя древнюю власть воды. Глодал, чтоб не осталось ничьего следа, кроме следа его собственного, следа его волн.

Эдди осторожно приставил доску к спасательской вышке, торчащей среди пляжных зонтов на измятом ногами песке.

– Ну что там? – донеслось до него сверху сквозь привычный шум прибоя и пляжный гомон.

– Без происшествий, – ответил он, стягивая через голову черную прорезиненную безрукавку. – Народ купается, народ доволен. Народ доволен – спасателю спокойно.

– Да, волны вроде небольшие.

– Небольшие, но течение будь здоров, я переставил флажки⁴, вода будет расти, с ней будет расти волна, посматривай.

– А я что делаю?.. – с недовольством донеслось сверху.

Эдди кивнул и через узенькую дверцу из крашеной фанеры пробрался в каморку, устроенную в основании спасательской вышки. Здесь даже в самую сильную жару было прохладно, словно в пустой ракушке. Лежали оранжевые спасательные буи с намотанными на них вечно сырыми и слегка прелыми верёвочными поводками, сюда после закрытия пляжа запирались аптечка и спасательские доски, здесь спасатели переодевались, а бывало, что и подрёмывали.

Но Эдди было не до сна. Уже второй раз, катаясь вне смены на доске над рифом, в правом углу залива, он слышал, как кто-то зовёт его. В первый раз, когда совсем рядом отчётливо и в то же время как-то многоголосо он услышал своё имя, он даже потерял волну. От неожиданности дрогнул, доску бесконтрольно повело, она потеряла скорость, её занесло, и Эдди буквально спихнуло настигшей пеной.

«Ну померещилось, перекатался», – решил он тогда, но теперь вот, снова ожидая волну, он слышал, как всё тот же многозвучный голос повторяет его имя настойчиво и мерно, настойчиво и мерно, словно может позволить себе звать в такой не окликающей манере бесконечно. Словно в запасе у него вечность.

– Эдди, Эдди, Эдди, – то звенело, как пузыри, то гудело в ушах долго, как прибой. – Эдди, чтобы услышать, слушай, – шипело пенно в голове.

⁴ Флажки – отмечают начало обратного течения в океан.

Слушать Эдди не хотел. Это было смешно – вслушиваться в какие-то голоса. Это было похоже на глупый фильм. Но раз за разом повторяющиеся призывы неотступно преследовали его, ему приходилось их слышать, и Эдди даже решил ответить, если, конечно, ещё раз услышит своё имя.

Ну а пока, встряхнувшись и надев почти высохшие ярко-красные спасательские шорты, он выбрался наружу. Пройдясь у будки раз-другой, наступая всей стопой на горячие песчинки, он решил прогуляться вдоль пляжа, словно совершить внеплановый патруль.

Жизнь на шезлонгах текла в своём привычном размеренном темпе. Эдди давно заметил, что если идти вдоль шезлонгов, то коротенькие сюжеты жизни на них отвлекают от всего остального, но стоит спуститься всего на несколько метров ниже, ближе к приборю, как внимание поглощает и уже не отпускает океан.

Он отошел недалеко, может, метров на тридцать, когда услышал ежеминутно ожидаемый сигнал тревожной сирены. С места подскочив чуть не на метр, попытался обзреть пространство, угадать, куда нестись на помощь.

– Эдди, в другой стороне, в приборе! Там, там! – услышал он с вышки, и слова ещё висели в воздухе, когда он, вскидывая высоко ноги, проскакивал приборю, пробиваясь сквозь злые шипучие пенные волны к женщине, сбитой с ног стремительным течением!

С двух сторон неслись ещё два спасателя, но он, добравшись первым, уже уверенно обхватил женщину и оттащивал её в сторону обрушения волны, что-то приговаривая. Двое подоспевших парней приняли испуганную жертву купания на руки и отнесли на песок, попутно успокаивая и справляясь о состоянии.

Нельзя сказать чтоб инцидент был чем-то из ряда вон выходящим, – нет, такое случалось. И часто спасателей опережали сёрферы, вытаскивая жертву до прибытия берегового патруля.

Эдди уже выбирался на песок, чтоб помочь угомонить зевак вокруг все ещё напуганной дамы, как вдруг волна захлестнула его ноги, словно удерживая на месте на мгновение, достаточно, чтоб он услышал:

– Эдди, Эдди... ты расслышал. Не услышишь ещё раз, я не верну жизнь на сушу. Эту, другую – всё равно... Слушай, Эдди.

– Я, я... Ты кто!? – чуть не в голос выкрикнул Эдди и тут же оглянулся на берег, где всё ещё кружили пляжники и хлопотали спасатели.

– Воды, Эдди, волны, Эдди, океан. Зайди глубже, почувствуй телом, словно рыба, кожей почувствуй мои речи...

Эдди не двинулся с места, его стопы проваливались в песок – воды властно погружали ноги в грунт, вымывая под пятками глубокие ямки.

– Или страшно, сёрфер, не боящийся воды, погрузиться?.. – вновь услышал Эдди многозвучный голос почти без интонации.

– Нет! – снова в голос воскликнул он и, разбежавшись в два прыжка, нырнул в подошедшую волну.

Сколько раз, сколько раз с самого детства проделывал он это, разбежался и нырял в лазоревые утренние воды, в густую синь полуденного залива, в тёмный бархат ночной глади. Вот и сейчас там, под водой, диким облаком хлопнула над ним волна. Он, привычно изогнувшись, пройдя под её пеной, заворачивающейся в рулон, нащупал дно и, как всегда, выскочил, к солнцу. И снова услышал и почувствовал одновременно, как ему говорит кто-то синий:

– Слышать точно сейчас будешь...

Эдди набрал воздуха, поднырнул под следующую волну и словно очутился лицом к лицу с этим синим, который был везде, был всем и отгадывался не только глазами, но и уши слышали его и ощущала кожа!

– Жизни тают в моих водах, – снова слышалось Эдди. – Я беру их, сколько нужно, из их лиц я тку своё...

– Да что тебе надо!? – подумал Эдди, снова выныривая на поверхность за вдохом.

– Ты.

– Что?! – изо рта и ноздрей вместе с этим словом выскочили пузыри. – Что? – снова вдох и опять погружение в бледную толщу. – Забери, если сможешь!

– Я могу. Ты должен сам...

Эдди развернулся и в четыре коротких взмаха оказался на мелководье.

– Что сам?! Утонуть? Сам!? Я перегрелся, я выпивал с парнями, мне мерещится. Что сам?

– И тогда тебе отдам я жизни всех у этих вод, на твою в обмен, думай Эдди...

– Да зачем я тебе нужен, ты же сам берёшь что, кого хочешь. А я у тебя их отнимаю и буду отнимать!

Океан вдруг странно выровнялся, утихомирив бег своих волн, и Эдди оказался стоящим в почти спокойной бирюзовой воде, по которой бродили лучики.

– Видишь, это тоже мое лицо, Эдди, и мне нужен ты, чтоб стать ещё одним из многих тысяч ликов. Я буду тобой. Когда я буду отнимать жизнь, ты, уже я, будешь её отстаивать. Я – Вода, Эдди, я огромная ваша вода. В каждой моей капле отражается мир тысячами граней. Ты одна из них, блистающая грань – блеск надежды.

Воды вздрогнули, волны вокруг заходили снова, окоём выгнулся, и прибой продолжил свой бесконечный труд. В нем Эдди показалось лицо.

Прошло несколько дней, ничего Эдди не слышалось, он ходил в патруль по пляжу, катался над рифом, позволял волне, как и раньше, почти закатать себя в водяной рулон, чтобы в последний момент выскочить из него вместе с брызгами.

И, возвращаясь почти на закате, когда солнце красит воды, волны, листья и песок тихой бронзой, вдруг увидел, как крошку лет полутора, копавшую у спокойной воды ямки, вдруг схватила невесть как плеснувшая волна, но, оттащив неглубоко, словно нарочно оставила.

Эдди, откинув доску, ринулся к ней, подхватил на руки и передал вскинувшейся матери. Потом поднял доску, зашёл в волны, смыл песок с днища и, положив ладонь на океан, произнёс:

– Я согласен.

Прошло ещё семь лет, за время которых на пляже Эдди и близких к нему бухтах не случилось ни одного прецедента, который мог бы повлечь за собой утопление. По истечении этого срока в один из ничем не примечательных дней Эдди, окончив смену, направился к океану, с разбегу прыгнул на доску и погрёб в закат. Больше его никто не видел. И только утопающие, которым удавалось спастись, находясь в шоке от пережитого, хватая руками песок, бормотали, что их на поверхность, к солнцу, к воздуху, к жизни выталкивала какая-то фигура, светло-голубая на фоне тёмно-синей океанской бездны.

IV

Кто чувствовал, тяжелы ли песчинки, налипшие на ногу? Какое их множество уносилось с пляжа тысячами ног, какие тонны? Но только на Настиных лодыжках песок налип так тяжело, будто все эти тонны она несла одна.

Одна – в чём, собственно, и была-то беда. Проблема, ставшая тенью, наваждением. Одна. Тяжело молодой женщине чувствовать себя после двадцати семи одинокой. Хотя подруги были, конечно, были друзья, иногда клубы, какие-то вечеринки, какое-то кино... И всё равно – одна.

Словно не находилось рядом того, кому в ладони хотелось отдаться спокойно и уверенно, и кто так же уверенно в ладони мог принять, не страшась.

И вот аэропорт, самолёт, ещё один аэропорт и снова – пляж. Снова фигуры атлетов с небрежно зажатými досками, снова солнце пёстро́го далёкого юга, трепет пернатых пальм, и за всем этим океан, грохочущий, постоянно слышимый, как кто-то из интересной компании за соседним столиком в кафе.

И всё равно одна. Даже в этом бурлении жизни Настя чувствовала себя чужой. Да и как было приобщиться, когда эти люди с досками думали непонятными категориями и переливали свои непонятные мысли в обычные вроде бы фразы, но приправленные прогретой солью океана так, что вкус их делался необыкновенным.

Непросто, по крайней мере ей так казалось, непросто было городскому человеку, «паркетному существу», как она сама себя называла, переварить это пахучее и горячее блюдо.

И вот снова вечер, и снова закат, роскошный и плотный, как расшитый зелёным золотом полог у входа в храм, который Настя обошла, сминая розовыми раздетыми ступнями колючие травинки. Снова гудение сотен мопедов, ужин с переглядыванием, может, покупка и потом темнота, в которой нужно заснуть.

Сходя с тротуара, она слегка подобрала краешек своего синего саронга, чтоб не извозиться в пыли, и стала от этого так же грациозна, как все женщины, которые чуть приподнимают длинный подол, чтоб спуститься со ступеньки или стряхнуть со стопы налипшие песчинки.

«А не попробовать ли! – вдруг крамольно блеснуло в голове. – Не попробовать ли самой взяться за доску?»

Десятки «нет» заходили в голову, и, как обычно, им на помощь пришло вездесущее «завтра».

Завтра началось с петухов, но, как ни странно, их проникновенное пение не раздражало. Отчего-то стало понятно, что у них в горле само собой встает солнце, и они не могут сдерживать его рвущиеся громогласные лучи, а потому трубят дню, а потому надо проснуться, и всё. Не бороться с утром. Тем более, что оно всё равно победительно.

На пляже туристы пока ещё не искомкали песок, а продавцы мелких сувениров и локалы⁵, сдающие доски напрокат, были неприметны.

Утренний океан казался не то чтобы бледным, нет, он был как серый кот с серым носом и голубыми глазами и так же, как разнежившийся кот, был ласков. Воздух стоял спокойно, ему было широко и удобно стоять здесь в безветрии, наслаждаться тишью и всё наслаждаться прохладой.

Доску Настя заметила сразу. Она давно, ещё с прошлого приезда на остров, знала, что для новичка лучше всего подойдет снаряд побольше, и теперь увидела на песке ещё не постав-

⁵ Локалы – местные.

ленную на стеллаж для аренды жёлтую чистенькую досочку с круглым носом, законченную и красивую, как большая летняя капля.

Немного растерянно Настя подошла к ней и потрогала шероховатую палубу.

– Ты хочешь рента? – услышала она. Сзади к ней приближался низкий, тонкий, лысый большеголовый индонезиец средних лет.

– А сколько стоит? – инстинкт городского жителя заговорил скорее, чем Настя что-либо подумала.

– Сколько дашь, – ухмыляясь, продолжал индонезиец, смешно нажимая на английские окончания, – Сколько дашь, не волнуйся. Хотя, ты знаешь, я беру не меньше пяти долларов за день. А если тебе не понравится, – вдруг добавил он, посмотрев на Настю с улыбкой, – ты знаешь, можешь вообще не давать.

– Нет, почему, – ответила она с горячностью, – я обязательно заплачу.

– Окей, но проблем.

Получив доску и ряд коротеньких наставлений, Настя осторожно зашла в океан.

Несмотря на то, что доска норовила вырваться из рук, на то, что было не по себе, да что там не по себе – было страшно, с доской ощущение океана было не таким, как обычно. Насте всё это почему-то казалось каким-то первым свиданием.

Давно, в шестом классе, ей полюбился девятиклассник, высокий, с ржаными волосами и родинкой на шее. И у неё с ним были свидания, хоть он об этом и не догадывался. Не знал, что все уроки напролет она думает не о биссектрисах и синтаксисе, а о том, как будет после уроков ждать его на школьном крыльце так, будто сейчас они вместе пойдут домой. И ждала, и делала несколько шагов навстречу, когда он выходил из дребезжащих подпружиненных дверей, и он тоже шел как будто бы к ней, но потом проходил, ни о чем не догадываясь, мимо, а она стояла там одна до тех пор, пока кто-нибудь из одноклассниц не окликал её на трамвай, тренькнувший за оградой.

Так и сейчас, находясь среди шипения легкого прибоя, Настя словно стояла на крыльце и даже сделала свои привычные «несколько шагов». Памятуя наставления Лалы, владельца доски, она, увидав разбившуюся метрах в тридцати широкую, полосой во весь пляж, волну, легла на досочку и неловко, с опаской, неумело стала грести к берегу. И тут, тут произошло чудо – ей ответили, и не просто шагом навстречу к её привлекательности, как бывало прежде. Её подхватили чьи-то ладони, широкие, как голубиные крылья, и кипенные, как крылья цветущей вишни, подхватили и – понесли! Понесли стремительно, в грохоте, как в хохоте, безудержно, с такой смелостью и задором, с каким, наверное, гусары подхватывали прапрабабушек в сёдла!

С кем это было!? Что это было! Кто огромный ответил ей на робкий шажок, ответил широко, потому что не умел сделать этого по-другому, ответил объёмно и ярко, потому что никогда сам не бывал блеклым!?

Весь день, изредка выходя попить и выслушать Лалины всё более и более пространные повествования о сёрфинге и жизни, Настя каталась. Весь желтый день, трепещущий, как горячая пташка, она обнимала и была в объятьях неведомого и сильного. И только когда солнце значительно поубавило в пылкости, она вышла наконец на берег, вернула Лале доску и, покопавшись в кармане шорт, вытянула промокшую красную купюру в сто тысяч рупий.

– Спасибо, – с достоинством произнес Лала и добавил: – Я бы с тебя вообще не брал, но, ты знаешь, дочку учить надо...

Когда Настя летела сквозь поток мопедов в свой отель, песчинки на её лодыжках были легче пуха. Нет, они, словно волшебные пузырьки, поднимали её над асфальтом, несли, и улыбка светилась не только на приученных губах, улыбкой блестела душа так же, как по утрам из петушиного горла непрощено и неостановимо сияет солнце!

Вечер опустился тяжело и душно и налил тело усталостью. Ужин, и спать, спать без страха оказаться одной, одинокой, потому что теперь в сердце поместился ещё кто-то, ещё что-то! А что или кто, самой Насте пока не было понятно.

Пошелестев страницей под незаметное шипенье кондиционера, она выключила свет и откинулась на подушку. Глаза закрылись, и через мгновение показалось, что утомлённое тело поплыло вбок, закружилось, и где теперь верх, а где низ – не понять, и перед глазами проходят и проходят чередой пенные волны! Качает, поднимает, опускает, а волны идут и идут и складываются вдруг в письменное, похожее на строку послание, и слышное, и видимое одновременно:

– Воды омывают берега, – слушала и читала Настя. – Воды смыли наносное, пыль с тебя, – шумела пена, складываясь в белые пузырьчатые буквы. – Ты настоящая, теперь ты настоящая, уже ты настоящая... – произнесла и написала следующая волна так, что Настя вздрогнула, будто сейчас кто-то к ней прикоснулся.

А волны всё шли и шли, качались и качали мир, и из них соткались голубые и светлые ладони, и слова уже не писались, но словно показывались чьими-то чуткими пальцами и вдруг стали оформляться в голос. Его тембр, похожий на звук перекачиваемой гальки, появился из водного многозвучия и никуда не уходил. За ладонями полностью обозначились руки и плечи.

– На волне кто верит морю – наг душой, – раскатывались уверенные слова, и плечи вздымали совершенные голубые прозрачные руки, за которыми всё так же пенно шли и шли валы. – Будь же в каплях, вот он – блеск, на солнечной стороне волны! Катись! В каплях будь, движение чувствуй!

С каждым словом перед Настей рисовалось лицо говорившего, почти полностью проявился торс, и каждая приходящая волна наполняла не только фразой его уста, но и добавляла плотной телесной, бирюзово-синей силы.

– Качусь, качусь! – хотелось кричать ей, а голос произносил теперь словно в голове:

– Чувствуй, как твои капли, вровень с мощным океаном, бьются и как льются в теле, наполняясь сладким весом, знойной силой чистых вод!

Перед Настей стояла в полный рост фигура, вокруг неё мерцали лучи, она переливалась, наполненная светом так, как мышцы наполнены упругой силой.

– Не управляй волной, она сама сделает всё, дай ей влиться, всей собою ощути! Она тебя держит в объятьях, её голубые ладони – твоя защита и наслаждение. Дай ей имя, и она отдаст себя!

Голос креп, голос звучал, и казалось Насте, что губы рядом, близко, близки. И казалось, что она в этих ладонях и каждой капелькой себя, брызгами чувств, отвечает движению чутких бирюзовых пальцев!..

Кто летает во снах, тот знает, как легко потерять там, среди звёзд, голову, потерять направление и оставить без сожаления всё, кроме этого томного лёта.

Настя не летела – неслась стремительно меж тяжких вод, ощущая их плотный вес и в то же время чувствуя легкость от того, что сама была водою, каплей, и мерцающий свет дрожал в ней, наполнял, и двигался!

Темнота раскрылась, как плотное петушиное веко, блеск хлынул в мир, и грянули птицы! Утренний свет пришел. Настя проснулась с птицами вместе, разом, гладкая, как одна из них.

Никогда больше не быть одинокой, никогда! Она ещё не понимала этого умом, но чувствовала, что где-то есть ладони, чистые розовые ладони, ждущие горячую каплю её сердца. Ладони того, кто ждёт, того, кто дожждётся.

V

Солнце ещё не набрало высоту, горизонт только угадывался за сиреневой, подсвеченной юными лучами дымкой. Было свежо. Эта дымка, отражаясь от океана, делала его непроглядным, похожим на старое стекло. По поверхности белыми разводами шли волны, но не застывшие, как в стекле, а тягучие, длинные и тяжёлые.

Воде нравилось смотреть из-под своей толщи на человечков, нарушающих её гладь каждое утро. Они упорно пробирались к какой-то только им ведомой точке, сидели там, свесив ноги с остроносых досок, а иногда стайкой передвигались туда-сюда. А иной из них совсем неожиданно начинал отгребать к берегу и вдруг по волне, похожей снизу на теряющее след облако, уносился куда-то вбок, чтобы через некоторое время снова присоединиться к своей стайке.

Вообще у Воды было множество морей, множество берегов. Она все их любила по-разному, и все они были словно разные портретные рамы. Одни такие, из которых следовало показывать лицо строгое, из других она не могла не улыбаться, а третьи были простыми, светлыми, и она была в них мягкой, как детский профиль.

И хотя этих, с досками, она всё чаще и чаще стала видеть в совсем разных своих морях, оставались ещё уголки, где подобного не происходило, где она смотрела в чистое небо, колыхала свои подводные сады, где медузы, словно движущиеся призрачные цветки, путешествовали с ней от дна к солнечному слою, чтобы она всегда имела с собой рядом их колышущиеся холодные букеты.

Вообще она любила все моря одинаково, но бывали минуты и местечки, которым Вода отдавала большее предпочтение. Таким местом был давно забытый пароходами пирс на берегу одного из самых далёких её морей.

Летом под этот пирс каждый день часов в десять-одиннадцать забиралось Утро. Расположившись там, оно начинало свежо светиться, и порой Вода болтала с ним о пустяках.

И вот в одно такое лето Воде вдруг показалось странным, что неподалёку от пирса на её поверхности болтается какой-то предмет. Вначале, присмотревшись к нему сквозь бледно-зелёную прозрачную толщу, она даже слегка не поверила увиденному, а потому осторожно ощупала покачивающуюся доску и обе свисающие с неё ноги.

В этом море странно и непривычно было видеть такое сочетание – человек и доска. Однако, отвлекшись на что-то, она перенеслась от этих берегов к другим, где свисающие с досок ноги попадались часто, а потому забыла о странном явлении.

Вернуться обратно к старому пирсу, к уже остывающим зелёным пучинам Воде пришлось к осени. Берег вокруг ржавел от благородной прохлады, и трава на рассвете оказывалась в сладкой седой корочке инея, на пляжах пахло не только водорослями, но и озябшей полынью. На поверхности шумно топтались чайки, танцевали с ветром свою свежую джигу, и недалеко от пирса снова качалась доска, и с неё, шевелясь, свисали две ноги.

Вода опять прикоснулась к ним. То, что это те же самые ноги, что и тогда, летом, сомневаться не приходилось. Ей сделалось чудно от того, каким странным упорством обладает этот человек, ожидая тут, на почти плоском, в сущности, море, её море, своей складочки, по которой они все так любят съезжать. Вода затаилась, решила понаблюдать.

Трогала колючие коричневые кисти водорослей на дне, смотрела на очень синее вогнутое небо. Ждать она умела – у неё впереди была, собственно, вечность, – а потому дождалась.

Действуя совсем как те – другие, этот человек заколотил, заколотил руками и вдруг поехал вниз с маленькой, всего-то чуть выше его колена, волне. Вода невольно подалась немного вперед, от чего как-то колыхнулась поверхность, и человек, и без того неловко стоящий на доске, шлёпнулся, и она увидела его синие глаза и почти такие же синие от холода

губы. Откровенно говоря, она ожидала, что он сейчас выскочит на свой берег и растает там, но нет! К её удивлению, этот тёплый комочек, выстукивая ручками по поверхности, снова погрёб в море, пробивая злые, маленькие и резкие волны.

Воде стало совсем интересно, и через мгновение она уже ведала о нём всё, но ей это «всё» было ни к чему. Почему-то хватало того, что его зовут Вовка и что он здесь ждёт своей волны. Упрямо, почти год, и совсем один. Сидит на берегу иногда неделями, наблюдает за заливом каждый вечер, и, если существует надежда, что придет хоть какая-то волна, бежит с доской в море в любую погоду!

Занятно, решила Вода и, качнув себя немного, издалека пустила по своей поверхности складочку, которую спустя некоторое время Вовка поймал и на которой, совершенно счастливый, выкатился на крупный холодный песок.

Прошло ещё сколько-то времени, она уже и забыла об этом Вовке, но однажды почувствовала на своём огромном теле необычное тепло. Словно там лежала тёплая капля, лежала и не таяла. Она переместилась в эту точку. Сквозь совсем холодную зелёную толщу ощутила Вовкины ноги и разглядела его белую доску.

И вдруг, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, качнула себя и, дождавшись, когда Вовка начнет скользить, понеслась с ним рядом. Она подкладывала себя, свою волну, под фанерные плавники⁶ так, чтобы он поехал немножечко вбок, хоть чуть-чуть, как те, которых она каждое утро видела у других берегов!

За этой волной она пустила следующую, подняла Вовку, осторожно опустила, подняла. Сливала, словно капельку с ладони! Ей было интересно, ей было весело! Этот Вовка стал словно её собственным Вовкой, он вообще как будто стал ею – тёк вместе с ней с каждой волны, которая ею же и была. Она катила его, помогала, шептала – и он отвечал!

Он отвечал. Сначала неуклюже сдвигал свои намерзшие стопы, потом всё ловчее, смелее. Казалось, его горячее сердце делается открытым и впускает в себя Воду, только не остывает от этого, а, напротив, саму Воду согревает, и оттого им двоим так хорошо.

«Мой собственный, такой хороший Вовка!» – думалось Воде. Она кружилась с ним и кружилась до тех пор, пока совсем он не остался без сил. И тогда, положив его на песок, она помчалась дальше по всем своим морям и океанам, качая просторы волнами, и вдруг поняла, отчего это ей так запомнился именно этот, такой неуклюжий в сравнении с другими человечками на досках Вовка.

Не тем, что он стал «её Вовкой», а тем, что она, великая, вечная и такая огромная, вдруг стала его, Вовкиной, Водой и в крохотной тёплой капельке его сердца оказалось достаточно места для её величины и бескрайней вечности.

⁶ Плавники – Стабилизаторы курса в кормовой части доски в её днищевой части.

VI

– Найджел, давай, парень. Я жду.

Не торопясь, Найджел принялся спускаться по лестнице, на ходу застегивая рюкзак. На улице было прозрачно, из окон были видны пучки жёсткой стеблистой травы, пробившейся между плит двора, дальше торчал аккуратный белый заборчик, под которым росли какие-то мамины цветки.

Доски уже были сложены в отцовском «выездном» пикапе. Желтый толстый ган⁷ отца контрастировал с новеньким необкатанным шорт-бордом самого Найджела. На его блестящей, ещё не тронутой ваксой⁸ поверхности, как на игрушечном вагончике из детских времён, играл луч.

– Я поведу, – сказал Найджел уверенно, садясь за руль. Отец, согласно хмыкнув, шумно забрался на соседнее сиденье.

Пикап тронулся. Выезжая на дорогу, Найджел немного сбавил скорость, чтобы осмотреть открывающийся между холмов синий треугольник океана. По далекому, как будто выгравированному на его поверхности блеску привычно определил наличие волн.

– Да что ты там высматриваешь, сынок? – проговорил отец, закладывая большие татуированные руки за голову. – Бобби не стал бы трезвонить с утра, забыв про свои апельсины, если б не было волны. Отличное утро!

Старого Бобби Найджел терпеть не мог с детства. В этом маленьком, плотном и сморщенном, как орех, старике с невероятной, почему-то всегда скошенной вбок бородой было много непоседливой жизни. И, пожалуй, он был одним из немногих, кто не видел в белокуром малыше Найджеле ангелочка, а потому едко насмеялся над добродушным огромным отцом, когда тот расписывал в баре достоинства своего чада. Не упускал случая подтрунить над Найджелом, когда тот превратился в сильного и нескладного, как породистый щенок, подростка. Да и теперь старик не стеснялся пустить шуточку в его сторону, выставив длинный железный зуб из железных волос кособокой бородищи.

– Пусть бы Бобби сидел лучше в своём сарае или окучивал апельсины, которые не годятся никому, кроме свиней.

– Да ладно тебе, сынок, – благодушно сморгнув голубыми, как небо, глазами, сказал отец. – Ты в колледже, один из немногих, кто в колледже, это с наших-то ферм! А Бобби, ну, старый... – неопределённо закончил он.

Вьющаяся между бледно-зелёных холмов с огороженными от валлаби⁹

⁷ Ганн – остроносая доска длиной от семи футов для катания на больших волнах.

⁸ Вакса – специальный парафин, наносимый на палубу доски для придания ей абразивной фактуры.

⁹ Валлаби – вид кенгуру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.